«Когда не знала я – что я поэт»

К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой

Александр БАЛТИН

«Как искры из ракет»…

Хрестоматийное определение появления в литературе Цветаевой, сделанное ей же, вращалось вокруг предположения: «Когда не знала я – что я поэт…».

Кажется, она родилась не в жизнь, не в действительность, а в державу, в империю языка, которую ей предстояло несколько видоизменить своим присутствием; или – изменить настолько сильно, что уже вряд ли последующим поэтам можно писать так, будто её не было.

Сложно сказать, долетели до неё брызги огня Маяковского, или всё шло от избыточной раскалённости собственного дара; ибо то, что большинство посчитало бы мелкой тенью, в Цветаевой вспыхивало фейерверком роз; розы эти, разлетаясь словесными лепестками, просвечивали каким-то совершенно необычным миром, одаривая привычный многим.

Чудеса рифм: они вихрились, вырывались из собственных недр, возникали там, где казалось бы их и быть не должно; совершенно необычный синтаксис – опять же вихрящийся верёвочно, рваный и вместе цельный, словно многие двойственности жизни сводились в одно, давая новые и новые лестницы подъёмов в невообразимые пространства.

Европейский лад, казачье неистовство, мчащийся, скачущий автобус, вдруг обрывающийся безумием Навуходоносора, вырастала «Царь-девица», играл с лунным светом Казанова, неистовство античности выкипало, выхлёстываясь через край современностью страсти…

Она была своею во всех веках, прожив избыточно жизней; она горела пророчеством о будущем: пускай смутным, рассыпанным великолепием искр по самым разнообразным линиям стихов и поэм; она возводила «Поэму Горы» и «Поэму конца», так, что никакой конец был невозможен, а горы громоздились тою метафизической вечностью, о которой грезят все поэты…

И, кажется, в бесконечном продление Цветаева продолжает ткать, рвать и создавать собственные варианты реальностей, столько их оставив на земле в неистовстве кипящих недр своего творчества.

Идиллия городка, где грех редок, рисуется сильно рвано-сказочным слогом, с массою таких деталей, когда отступление о пуговице становится бьющей током легендой…

Цветаевский напор ошеломляет, и появлением крыс станет столь же логично, как потом крысолова.

В сущности, в поэме извечное цветаевское противостояние: голод голодных и сытость сытых: слишком сытых бюргеров, и нищего, тощего, с дудочкой, не размеривающегося на быт.

Зачем ему Грета?

Ни распоясавшихся невест,
Ни должников, – и кроме
Пива – ни жажды в сердцах. На вес
Золота или крови –

Грех. Полстолетия (пятьдесят
Лет) на одной постели
Благополучно проспавши, спят
Дальше. «Вдвоем потели,

Вместе истлели». Тюфяк, трава –
Разница какова?

Телеграфное неистовство рвётся золотом стихов, нагнетая детали, увеличивая массу подробностей, через которые должна проступить сущность мира.

Но она проступает в лице крысолова: способного избавить город от крыс, но тою ценою, какую не захотят платить бюргеры.

Но – отказавшись от одной цены, можно заплатить иную: гораздо более страшную.

…Быт восстанавливается каталогом: ярко-красными языками пламени, ощущением неправильности… жить только бытом.

Но – бюргеры и есть бюргеры: они, собственного, сами по себе отрицание всякого художества, дерзновения мысли, небесных устремлений.

– Свежего, красного
Легкого для пастора!

И пойдёт трещотка разговоров: и жизнь людей этих: суетливая, вся вокруг материального, восстановится ярко, плотно.

Естественно, удар будет нанесён именно по материальному: крысы начнут пожирать запасы, раз не могут сожрать самих обывателей.

О! они хотели бы: разрастание крыс велико: огромно и значение в жизни взятого в объектив Гаммельна (у Камю не так…).

Насмешка над мерой: символом города – едва ли обоснована, но Цветаевой близка безмерность, мера для неё – символ ограниченности.

Начнётся Индия крыс: их торжество, их бархат; будет городской совет, где рожи крепки, как и тела: и то и другое напоминает окорока.

Начнётся, закончится…

Увод крыс был щеголеват, увод детей – страшен…

Так ли хорош Крысолов?

Едва ли он тянет на гения – если только, как персонаж.

Однако, вся поэма, неистовствуя и полыхая, предлагает своеобразную панораму века: с жировыми складками богатства, уводом многих в недра ложных идей (кто такие взрослые? В сущности – выросшие дети), и со многим ещё, так яростно отражённом в рвущихся ритмах Цветаевой…

Горе и гора оказываются союзны: неистовство Цветаевой не убывает:

Вздрогнешь – и горы с плеч,
И душа – горе.
Дай мне о горе спеть:
О моей горе!
Черной ни днесь, ни впредь
Не заткну дыры.
Дай мне о горе спеть
Наверху горы.

Светоливень цветаевских строк вибрирует, напряжением горя, состраданием ко всем: все малые сии, всем умирать, а что там…

Гора – символ высоты, символ предела: над ней, впрочем, иной предел, небесный; и гора, дающая образ рая, оказывается волшебной, как язык, который разбрасывает вокруг сияющие камни слов.

Драгоценных, звучащих иначе, чем раньше…

А вот – неистовство «Автобуса», даже не едущего: скачущего, трясущегося, вовлекающего в тряску всех, помещённых внутри: никакого ровного движения: оно должно быть таково, чтобы обеспечивало взлёт…

Тряска долетит до Навуходоносора, до глобальных обобщений: снова узнаем, что лучше мародёр, чем гастроном, снова поймём, насколько Цветаева ненавидит всё косное, унылое, избыточно сытое, прямо-ровное…

…Столб встанет перстом, возникнет «Поэма конца»…

Они словно растут из неопределённого зерна огня: её поэмы, и строки их – неистовство разлетающихся языков, с брызгами красно-оранжевого цвета.

Вся Цветаева – очень горячая, и цвета вспыхивают красный, золотой, оранжевый…

Никогда белый, даже если снег идёт.

Ширь разольётся, возникнет цветаевская «Сибирь» – тут уже не обойтись без заходов в историю, но и они будут своеобразны, и в них казацкая стихия загудит так мощно: цветаевскими проводами, по которым бежит поток огня.

Поэмы – логичные продолжения стихов, но у Цветаевой всё алогично…

«Царь-девица» закрутится сказкой, и нечто ветхозаветное просквозит на фоне, и из русского заветного пантеона выпорхнет столько перьев жар-птицы.

Возможно, Цветаева и писала не строчками, а перьями этой птицы: оттого так светятся огнём и мыслью её поэмы, и живут неистово, и кажется иногда – не нуждаясь в читателе, просто – соприкасаясь с запредельностью космоса…

Стих напряжён и заострён: сам стих – острый уголь, как охарактеризован Джакомо Казанова – блестящий вечный образ, кочующий по векам…

Струиста Венеция, таинственна; не имеющая альтернативы в воздухе, предлагает жить на воде – и прямо с качающегося носа гондолы можно вступить в помещение…

Уголь Казановы – пылающий жаром любви, сжигающий тех, кого он любит, дотла, до пепла, – будет чётко прочерчивать действия, насыщая их внутреннее содержание красками разных цветов.

Лунный лёд – так характеризуется Анна-Генриетта, и сочная точная краткость словосочетания уже рисует характер.

Дело в нём – или же в стихах?

Превалируют последние, вводя в фантасмагорию цветаевской мистики, раскрывающуюся экзотическими цветами.

Слишком холодно в России, чтобы Венеция стала родной.

Слишком всё прозаично у нас – чтобы она родной не была.

Для Цветаевой родная в той же мере и Греция «Федры» – где хоры звучат так, будто расстояния между нами и античностью не было.

…Розовато-мраморной античностью, вдруг закипающей таким котлом переперчённых страстей, что диву даёшься…

Выдержит ли сердце подобное напряжение?

Напряжение цветаевского стиха из той же серии…

Её драматургия – очень из серебряного века, с одной стороны, и слишком от всемирности – или всемерности – с другой…

Но любой монолог из любой её пьесы сам является выдающимся поэтическим произведением.

Из пера жар-птицы растила Цветаева «Царь-девицу» – и словесные узоры и орнаменты пламенели дивными красками русского рая.

От Конька-Горбунка был ток сказа, от пушкинских перлов тянулись прекрасные нити мерцаний.

Нервно пульсировал, обжигая, стих, ритмы взрывались пёстрыми стягами осени.

Казалось – Китеж всплывёт вот-вот.

Тайна троичности воплощалась в тройном повторении определённых моментов.

Перо жар-птицы увеличено, и краски, составляющие его убранство, словно преувеличение реальных.

Реальность была мала Цветаевой, ей узко в ней, тесно, негде повернуться.

Диски звенят: небесные диски.

Кольца Сатурна мелькают – это цветаевский объём.

Волшебство метаморфоз: был старик – а уж паук, потом…

Потом вспыхивает в каждой точке, испуская лучевое свечение.

Длятся монологи, мелькают действия, эпитеты сыплются как из мешка фокусника.

Неистов жар жар-птицы – Цветаевой, взлетающей, взвивающейся в поднебесье, чтобы передать оттуда смыслоцветы – небывалые…

Воздух, определяющий дыхание жизни, становится иногда тем, за что приходится держаться; тогда, сгущаясь, он превращается в вибрирующий цветаевским нервом стих, вытягивающийся в поэму:

Ну, вот и двустишье
Начальное. Первый гвоздь.
Дверь явно затихла,
Как дверь, за которой гость
Стоявший – так хвоя
У входа, спросите вдов, –
Был полон покоя,
Как гость, за которым зов
Хозяина, бденье
Хозяйское.

Всюду двери: именно их возможности определяют существование входа-выхода, но не обязательно – дверь выбрана та, в которую стоило входить…

Хозяин зовёт гостя: оба безымянные, от этого разгорается лампой накаливания таинственность…

Дальнейшее повествование о двери, делающей стойку, отдаёт абсурдом, пролитым в сосуд мира; или – разыгрывается представление, чья художественность спонсирована цветаевским даром.

Полная естественность.
Свойственность. Застой.
Лестница как лестница,
Час как час (ночной).

Вдоль стены распластанность
Чья-то. Одышав
Садом, кто-то явственно
Уступал мне шаг.

Таинственность продолжается: может, это лестница внутри венецианского дома?

Но тогда бы была скорее «Поэма воды и истории»…

Лестница в московском доме?

Неважно, важно – что некто – распластанный: кто не распластан давлением воздуха? и он уступает шаг – в божественность ночи, что развернётся в дальнейшем.

Вот и воздух проявится, как новый герой, как земля, которую надо открывать, став Колумбом: в случае Цветаевой – Колумбом стиха:

Полная срифмованность.
Ритм, впервые мой!
Как Колумб здороваюсь
С новою землей –
Воздухом.

Воздух взорвётся – лестницами, натяжением, притяжением…

Предельность любви декларирована густо: с нарушением грамматических правил:

Сню тебя иль снюсь тебе –
Сушь, вопрос седин
Лекторских. Дай, вчувствуюсь:
Мы, а вздох один!

Цветаева – всегда о любви, во всех её разновидностях: безответной, кипящей, к Гамлету ли, Чехии…

Сколько их – любовей – связывается в крутой ком!

И воздух – сплошной: Цветаевой для полёта не нужен прибор:

Мать! Недаром чаяла:
Цел воздухобор!
Но сплошное аэро –
Сам – зачем прибор?

Ей и реальность нужна в той мере, в какой даёт возможность вибрировать стихом.

Поэмой…

Лёгкость: ажурность воздуха необходима; та невероятная воздушность, что увлекает и завлекает, суля перспективы космические, без аппаратов:

Легче, легче лодок
На слюде прибрежий.
О, как воздух легок:
Реже – реже – реже…

Усложнённо-верёвочный стих достигает предела: подниматься дальше, ибо для Цветаевой – любой предел есть условность.

И храм её, возникающий в финале, – есть храм условности бытия, храм, догоняющий свой шпиль, как поэта догонит время:

Храм нагонит шпиль
Собственный – и вычислив
Всё – когорты чисел!
В час, когда готический
Шпиль нагонит смысл
Собственный…
Медон, в дни Линдберга.

Как догнало оно Цветаеву, дышавшую, казалось, отличным от человечества воздухом.

«Поэма конца» логична для Цветаевой, как тяготенье к предельным ответам, в том числе на те вопросы, которые задают чувства.

Цвет – ржавый, но пробивающийся через него оранжевый и красный гудят в большей мере, организуя телеграфно-рваное послание векам:

Небо дурных предвестий:
Ржавь и жесть.
Ждал на обычном месте.
Время: шесть.
Сей поцелуй без звука:
Губ столбняк.
Так государыням руку,
Мертвым – так…

Покой невозможен: юла юдоли вращается слишком мощно: набирая новые и новые обороты, раскручиваясь стремительнее и стремительнее…

Так скачет цветаевский «Автобус».

Чувств – чересчур: и братство, которое ей необходимо: и кочевое, и военное:

Братство таборное, –
Вот куда вело!
Громом на голову,
Саблей наголо!

Она и в жизнь вторгалась с саблей наголо: иначе бы не рвались – костром, когда не пожаром души, её сквозные строки.

Психология совсем разных возрастных категорий людей сближена, и просвечена абсолютно точно:

Заблудшего баловня
Вопль: домой!
Дитя годовалое:
«Дай» и «мой»!

Поиск… себя – или кого-то?

И – набережная. Воды
Держусь, как толщи плотной.
Семирамидины сады
Висячие – так вот вы!
Воды – стальная полоса
Мертвецкого оттенка –
Держусь, как нотного листа
Певица, края стенки –
Слепец…

Странно – как можно постоянно удерживаться в недрах взрыва, привлекая максимум культурологических ассоциаций, чувствуя с ног валящий онтологический ветер, и умудряясь идти – вопреки ему.

Эсхатологические мотивы вшифрованы в цветаевские тексты неистовыми переборами чувств.

Впрочем, вот – более спокойная обстановка: явно вечер, явно деловой приём, или светский раут, или – смешение и того и другого:

Тумана белокурого
Волна – воланом газовым.
Надышано, накурено,
А главное – насказано!
Чем пахнет?
Спешкой крайнею,
Потачкой и грешком:
Коммерческими тайнами
И бальным порошком.

Коммерческие тайны претили Цветаевой, что они – рядом с бытийными?

…Как могут смеяться три встреченные девки?

Заливаться – обычно: а тут:

Три девки навстречу
Смеются. Слезам
Смеются, – всем полднем
Недр, гребнем морским!
Смеются! – недолжным,
Позорным, мужским.

Тонет ли героиня?

Нет – сияет лучами эстетического феномена поэмы, продлённой в вечность, хоть и означен – конец.

…Поскачет автобус: не помчится: поскачет через тропы обыденности – ассоциативными тропами – в библейские какие-то, маревом мерцающие дали:

Препонам наперерез
Автобус скакал как бес.
По улицам, уже сноски,
Как бес оголтелый несся
И трясся, как зал, на бис
Зовущий, –
и мы тряслись –
Как бесы. Видал крупу
Под краном?
И врозь, и вкупе –
Горох, говорю, в супу
Кипящем!
Как зерна в ступе,
Как вербный плясун – в спирту,
Как зубы в ознобном рту!

Кажется, груз сравнений разрывает поэтов мозг: необходимо отделаться, и она выбрасывает их разнопёрыми огнями, точными, как транспортир.

Вроде – просто едет автобус: обыденно-бытово:

От смеха рождалась лень
И немощь.
Стоять не в силах,
Я в спутнический ремень
Товарищески вцепилась.

Но… куда довезёт?

Он взбрыкнёт, как бык: остановится, выбрасывая фейерверки слов-цветов:

Хоть косо, а напрямик –
Автобус скакал, как бык
Встречь
красному полушалку.
Как бык ошалелый, мчался,
Пока, описавши крюк
Крутой, не вкопался вдруг.
…И лежит,
как ей поведено –
С долами и взгорьями.
Господи, как было зелено,
Голубо, лазорево!

Всевременье, в метафизике – глобального толка, и Навуходоносор жрёт траву, с ума сойдя от власти; и раскрываются цветаевские истины:

Царь травоядный, четвероногий,
Злаколюбивый Жан-Жаков брат…
Зелень земли ударяла в ноги –
Бегом – донес бы до самых врат
Неба…

Ширь цветаевского макрокосма…

Вот её кредо:

Этим словом –
куда громовее, чем громом
Пораженная,
прямо сраженная в грудь:
– С мародером, с вором,
но не дай с гастрономом,
Боже, дело иметь,
Боже, в сене уснуть!
Мародер оберет –
но лица не заденет,
Живодер обдерет –
но душа отлетит.
Гастроном ковырнет –
отщипнет – и оценит –
И отставит,
на дальше храня аппетит.

Худшее в мире: мещанство, буржуазность, имущество…

Она проходит – Цветаева – громокипящей сетью ливня: её не уловишь, но, попав под неё, остаётся понимать…

…И Сибирь развернётся по-своему: в своеобразную ширь, доступную только ей, но – через краткость строф, рубящих воздух:

Казацкая, татарская
Кровь с молоком кобыл
Степных…
Тобольск, «Град-Царствующ
Сибирь» – забыл, чем был?
Посадка-то! лошадка-то!
А? – шапка высока!
А шустрота под шапкой-то!
– С доставкой ясака.

Мешанина кровей словно загудит отчётливо: и богиня Сибирь накинет соболью, с синеватыми и рубиновыми высверками шубу на всё-всё…

Кротость не представить в исполнение Цветаевой, поэтому:

Казачество-то
в строгости
Держать?
Нашел ягнят!
Все воеводы строятся,
А стройки –
все-то в ряд.
Горят!

Горят – у неё горит всё: лютый спирт!

История закрутится волчками водоворотов, история заблещет, словно шапку получив от шири-Сибири; история замелькает конями, Петром, былым, мальчишеством, чем угодно…

И лица – словно замелькают, сливаясь в массу, доказуя – человечество: единое целое…

И досками в конце запахнет резко, в том числе – гробовыми…

Размах цветаевских поэм необычаен: он вбирал, вмещал всё, предлагаемое миром, и изъятие хоть какой детали ставило бы под сомнение возможность механизма работать.

Кто ближе ей – Маяковский?

Есенин?

Зачем выбирать – стих Цветаевой вибрирует двойной памятью: которая болит, как посыпанная солью рана, и никуда не деться от боли: только в стихи:

Зерна огненного цвета
Брошу на ладонь,
Чтоб предстал он
в бездне света
Красный как огонь.

Советским вельможей,
При полном Синоде?
– Здорово, Сережа!
– Здорово, Володя!

Как всегда – сложно и сильно: в большей степени поверх барьеров, чем у Пастернака, неистово – и сразу ко двум.

Она ведь равная собеседница.

Она убеждена, что они самоубийцы, она сама несёт этот проклятый ген в себе, и скоро он взорвётся, отсюда – вопросы:

Умаялся? – Малость.
– По общим? – По личным.
– Стрелялось? –
Привычно.
– Горелось? – Отлично.

– Так стало быть пожил?
– Пасс в некотором роде.
– Негоже, Сережа!
– Негоже, Володя!

Поэтическое напряжение – на высотах предельного дара предполагает «умаянность», поэтому у самой Цветаевой – никаких сомнений – стрелялось…

…Вдруг – невероятным гибридом смешиваются они, совмещаются невероятно:

А помнишь, как матом
Во весь свой эстрадный
Басище – меня-то
Обкладывал? – Ладно

Уж? – Вот-те и шлюпка
Любовная лодка!
Ужель из-за юбки?
– Хужей из-за водки.

Из-за юбки?

Намёк на Маяковского…

А водка, конечно, по есенинской части.

По цветаевской – неистовые вибрации боли, мятущаяся метафизика осмысления случившегося, рвущийся на онтологическом ветру голос.

От Цветаевой – эсхатологический шедевр, посвящённый двум гигантам.

Цветаевская сила мысли особенная: словно дана прочувствованно, через образный строй, где плотно и тесно: и от своеобразного света, и от предметов мира:

С Новым годом –
светом – краем – кровом!
Первое письмо тебе на новом
– Недоразумение, что злачном –
(Злачном – жвачном)
месте зычном, месте звучном,
Как Эолова пустая башня.

Новый год – праздник надежды, обычно – именно в такие тона окрашен он; и Цветаева начинает посмертное посвящение Рильке, столько значившему для неё в жизни, именно лучевыми потоками…

Однако: они воспринимаются безнадежно: ушедшего не вернуть.

Рильке дал совершенно особенный стих: его вещность и плотность заставила критиков ввести понятие стихотворение-вещь, и внешне, сколь можно судить по многочисленным переводам, а переводили Рильке изрядно, стих – далёкий от цветаевского неистового, завихрённого тремоло, её рвано-телеграфного, перегруженного эмоциями стиля…

Однако, внутреннее сродство важнее.

…Тот свет известен человеку мало, несмотря на Сведенборга и Даниила Андреева, но наличие его, абсолютная реальность не вызывает и толики сомнения у Цветаевой: он должен быть хотя бы потому, что на этом возможны такие поэты, как Рильке, а энергия не умирает.

Тем не менее – изнюсь… без тебя:

Первое письмо тебе с вчерашней,
На которой без тебя изнюсь,
Родины, теперь уже с одной из
Звёзд…

Конечно – она ведёт монолог, и он, усложняясь, заливисто завихряется в ритмике её речи:

Рассказать, как про твою узнала?
Не землетрясенье, не лавина.
Человек вошёл – любой (любимый –
Ты). – Прискорбнейшее из событий.
– В Новостях и в Днях. –
Статью дадите?
– Где? – В горах.
(Окно в еловых ветках.
Простыня.) – Не видите газет ведь?
Так статью? – Нет. –
Но… – Прошу избавить.
Вслух: трудна.
Внутрь: не христопродавец.

В общем, она мчится сквозь текст так быстро, что, кажется, сейчас взлетит, не остановишь, ей не нужны самолёты, у неё есть невероятный дух.

Она и жизнь, и смерть давно берёт в кавычки: так, будто это обороты одной медали:

Жизнь и смерть
давно беру в кавычки,
Как заведомо-пустые сплёты.

…Микеланджело утверждал, что смерть нам понравится тоже – если так нравится жизнь; для Цветаевой миры эти будто полупроницаемы: у неё монолог, но такого рода, когда ответы угадываются, почти слышны.

Разгон-разбег-полёт…

Ещё сложнее тема того света, потусторонности связывается с русской жизнью, миром:

Ни высот тому, ни спусков
На орлах летал заправских русских –
Кто. Связь кровная
у нас с тем светом:
На Руси бывал – тот свет на этом
Зрел. Налаженная перебежка!

Просто перебежка – ап, и уже там…

А Рильке бывал в России, вживался в неё, встречался с ярчайшими её представителями, переводил «Слово о полку Игореве», и даже несколько стихотворений написал именно на русском.

Вот и спрашиваю не без грусти:
Уж не спрашиваешь, как по-русски
– Nest? Единственная, и все гнёзда
Покрывающая рифма: звёзды.

Русское – и звёздное: и Рильке там, на одной из сиятельных звёзд, он слышит…

Услышать бы его ответ.

Цветаева чувствует (или знала?) – тот свет гораздо обширнее нашего, и возможности не сравнить:

Острог с прекрасным видом
На Париж –
чертог химеры галльской –
На Париж – и на немножко дальше…
Приоблокотясь на алый обод,
Как тебе смешны
(кому) «должно быть»,
(Мне ж) должны быть,
с высоты без меры,
Наши Беллевю и Бельведеры!

Цветаева продолжает лететь: бескрылость ей смешна и нелепа, как недостойный вариант существования.

Феноменальный полёт «Новогоднего» забрасывает читателя столь высоко, что испытываешь головокружение.

Всё тебе помехой
Было: страсть и друг.
С новым звуком, Эхо!
С новым эхом, Звук!

Новая речь, обретённая Рильке, представляется ей: и она светится такими красками, которых на земле не может быть.

Жаль, ответ, который, возможно, слышала Цветаева, нам не услышать…

АНО «Газета русских писателей “ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”»
Учредитель – Союз писателей России
Свидетельство о регистрации от 12.04.2019
№ 1197700005513

Адрес редакции: 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 13, каб. 109
Тел. редакции: 8 (916) 015-80-69
Наш сайт: denliteraturi.ru Электронный адрес: denlitera@yandex.ru
Отпечатано в АО «Красная Звезда» (125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38, тел.: (495) 941-32-09, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62, http://www.redstarprint.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru).
Тираж 4 000

Главный редактор – Валентина ЕРОФЕЕВА

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов 18+
Подписано в печать 28.10.2022 г. Заказ № 4852-2022